НИКИТА ГИЛЯРОВ-ПЛАТОНОВ

ИЗ ПЕРЕЖИТОГО. ТОМ 1

Никита Гиляров-Платонов

Из пережитого. Том 1

«Public Domain»

1886

Гиляров-Платонов Н. П.

Из пережитого. Том 1 / Н. П. Гиляров-Платонов — «Public Domain», 1886

«Раз, когда я разрезвился более обыкновенного, сестры пожаловались на меня отцу, и он ответил коротко: „А вот я его отведу в семинарию“. Он называл духовное училище „семинарией“ по старой памяти: он учился еще тогда, когда наш город, хотя и уездный, был епархиальным. В нем был свой архиерей и своя полная семинария, от Инфимы до Богословского класса включительно. Тридцать лет прошло уже с тех пор, но у родителя моего так и осталось название „семинарии“ до конца жизни; а он прожил и еще с лишком двадцать лет…»

© Гиляров-Платонов Н. П., 1886
© Public Domain, 1886

Содержание

‹Предисловие› 5
Глава I 7
Глава II 12
Глава III 18
Глава IV 22
Конец ознакомительного фрагмента. 23

Никита Гиляров-Платонов
Из пережитого. Том 1

‹Предисловие›

Раз, когда я разрезвился более обыкновенного, сестры пожаловались на меня отцу, и он ответил коротко: «А вот я его отведу в семинарию». Он называл духовное училище «семинарией» по старой памяти: он учился еще тогда, когда наш город, хотя и уездный, был епархиальным. В нем был свой архиерей и своя полная семинария, от Инфимы до Богословского класса включительно. Тридцать лет прошло уже с тех пор, но у родителя моего так и осталось название «семинарии» до конца жизни; а он прожил и еще с лишком двадцать лет.

Трудно изобразить чувство, охватившее меня при словах отца: не то испуг, не то смущение. Особенно страшного ничего не предвиделось. Один из учителей, и именно тот самый, к которому на руки мне приходилось поступить с самого начала, был близкий человек, двоюродный брат; не так еще давно поступив на учительское место, он даже проживал временно у нас до приискания квартиры; раскладывал по вечерам ученические тетрадки чистописания и передавал сестрам при мне свои классные впечатления. Я не вслушивался; но мир отчасти, хотя заочно, мне был знаком. Тем не менее сердце оборвалось у меня. Это было чувство невесты, сговоренной за неизвестного в далекую сторону; мне жаль было воли, жаль разлуки с беззаботною жизнью; смутно предчувствовалась дисциплина, своенравию предвиделся конец. А я был нервный мальчик; любил делать назло, хотя не со зла; находил потеху в тех шалостях, которые пугали и тревожили сестер. Другого мира не было у меня; уже год как не стало матери; ее заменила из трех сестер старшая, разнившаяся со мной пятнадцатью годами. При отце я был тих или проводил время на дворе, в саду, на лужайке пред домом. Но лишь батюшка отлучался, шел дым коромыслом: сестры приходили в отчаяние, и в один из таких-то случаев принесли на меня жалобу, которая могла для меня окончиться даже чувствительнее, нежели обещанием отвести в семинарию: я попробовал бы плетки.

Итак, прощай воля!

Однако я должен познакомить читателя подробнее со всею обстановкой, среди которой вырос, и начать издалека. Плебейское происхождение не позволяет простираться мне вдаль на целые века; однако родословие все-таки не потеряно для меня по меньшей мере с половины прошлого столетия. Читатель должен знать моих дедов, должен представить себе этот мало или односторонне освещенный мир, далеко ушедший и теперь даже невероятный; видеть развивавшиеся в нем характеры, а у некоторых они были недюжинные. Один из умнейших людей России (П.В. Киреевский) говаривал, что Россия живет во многоярусном быте. Часть не дошла еще до XVIII столетия; а где-нибудь в Пинских лесах, отрезываемых от остального мира болотами на целые полгода, в каком-нибудь Мозырском уезде, где уже на нашей памяти запал раз исправник, наступлением лета разобщенный со своей резиденцией и даже исключенный из списков как умерший, – в этом глухом углу живо, пожалуй, XIII столетие. Подобные же границы столетий пролегают и в одной местности, но в разных слоях населения. В той же Москве большинство живет исходом XIX столетия, а бесспорно для других это столетие еще не начиналось. Понятия и быт друг другу незнакомые, хотя рядом живущие и даже сносящиеся между собой отчасти. Духовенство же есть вообще особенный мир; а семья, среди которой я вырос, была и среди особенных особенная: она жила в XVII веке, по крайней мере на переходе в XVIII. Консерватизм моего родителя был чрезвычайный: он жил вполне, как его отец, и с очень малым отличием от того, как жили дед и прадед. Мать и сестры были представительницами прогресса, порывались на нововведения: сестры ходили уже в платьях, мать

меняла сарафан на платье для торжественных случаев; но всякие нововведения прививались туго, тем более что мы, как Мозырский уезд, отделены были от мира. У нас почти не было знакомых; гостей не принимали и сами не бывали ни у кого. Дом наш был своего рода скитом, где царил угрюмый, вечно молчаливый патриарх, и при нем мы, подрастающая девичья молодость и полуребенок сын.

Сколько, однако, пришлось пережить и перевидеть затем! После тесной родительской храмины с лежанкой, палатями и светелкой; после этой невозмутимой тишины, где шел один день за другим, ничем не разнообразясь, кроме того, что сегодня скоромный, а завтра постный день, а вот скоро наступит храмовой праздник или «Светлый день»; после школы с ее секуциями, кулачными боями и насекомыми; после мира, в котором горячий, оживленный интерес возбуждали вопросы, как править службу, когда сойдутся Благовещенье, храмовой праздник и Великая пятница в один день; после умственной почвы, где на фоне Четьих-Миней, легенд, бытовых песен улегались как-то и последняя книжка «Телеграфа», и латинская грамматика; после этого и из этого – участие в водовороте быстро текущей всемирной жизни, ученая и отчасти политическая арена, аудитории, кабинеты министров и дворцовые залы, знакомство с лицами, имевшими историческое значение для отечества; круги литературные и ученые; собственное, хотя и маловажное, участие в немаловажных событиях. После полувека оглядываешься назад и на прадедушку Болону, и на тетушку Марью Матвеевну, на эту семью, в которой чай был редкость, а кофе знаком был только по слухам, для которой городничий представлял грандиозную фигуру, а семинарист «первого разряда» почтенную величину: припомнишь мир, посеявший в тебе первые духовные зерна; задумаешься о всем ходе твоего развития: нет, мне кажется, это не должно пропасть нужно поделиться с другими.

Глава I
Родной город

Уездный город, бывший епархиальный, следовательно старинный, а потому, согласно этим двум качествам, со множеством церквей (до двух десятков счетом); река средняя, впадающая за три версты в большую. Но, впрочем, зачем же говорить обиняками? Это – Коломна. Крепость полуразвалившаяся, но с уцелевшею частью стен; уцелело также несколько башен и одни ворота с иконописью на них и с вечною лампадой. Как подобает старине, город потонул в легендах. В одной из башен содержалась Марина Мнишек: это исторический факт. В той же башне кроются несметные богатства: это легенда. В одной из церквей венчался Димитрий Донской и осталось его кресло. Это тоже история (сохранилось ли кресло доныне, не имею сведения). А об одной башне в зимние вечера при горящей лучине (свечи у нас полагались почти только для гостей) тетушка Марья Матвеевна заводила речь, что башня эта, урольная, к Москве-реке, называется «Мотасовою», и вот почему: на ней сидел черт несколько сот лет и мотал ногами. Против нее, за рекой, на лугу, окруженный несколькими избами бывших монастырских крестьян, – Бобренев монастырь; на противоположной стороне, за три версты, на стрелке (между) Москвой-рекой и Окой, – монастырь Голутвин. Летит сатана из Бобренева; видит его с башни Мотас. «Откуда и куда, друг?» – «Да вот бобреневских монахов соблазнял. Там кончил, теперь к вам в город». – «Э, голубчик, – отвечал Мотас; – я тут уже четыреста лет от нечего делать мотаю ногами; здесь нас с тобой поучат грешить, ступай в Голутвин».

Самоосуждение свойственно не одной Коломне, а вообще русским городам, особенно древним, происхождение которых затеряно. Замечательна эта народная черта. Не хвалятся, чем даже основательно хвалиться; не помнят героев, забывают о своих исторических заслугах, а помнят Божиих святых людей и им противопоставляют себя как негодных и грешных; рассказывают, что город основан «на крови», взводят на своих предков небывалые преступления. Предания о начале городов полны такими сказаниями. Откуда Коломна названа Коломной? Не одна Марья Матвеевна, но начетчики-мыслители мещане (таковые есть), дьячки и тому подобный народ передавали мне, что преподобный Сергий проходил некогда через город и его прогнали «колом»; он тогда прошел в Голутвин. Историческое событие несомненно, что Сергий преподобный проходил через Коломну, и там, где теперь Голутвин, благословил Димитрия Донского; посох Сергия остался в Голутвине. Но Коломна по меньшей мере двумя, а то и всеми тремястами лет старше Донского; тем не менее коломенцы воспользовались историческим событием, чтобы сочинить самоуничижительную легенду.

Вслушивался я в такие рассказы ребенком, хотя даже тогда не придавал им веры. Верит ли народ? Не думаю: и для него это поэзия, которою он наслаждается и поучается, не останавливаясь на вопросе об исторической верности. В собственном личном развитии я подмечаю черту, заслуживающую упоминания именно по поводу сказки об имени города. Шести, семи лет я был, когда мне ее передавали, и меня тогда уже возмущала филологическая нелепица. Я также пропускал мимо ушей историческое событие, равнодушный к тому, проходил ли через Коломну преподобный Сергий и что с ним было; но мне претило согласиться, чтобы Коломна происходила от творительного падежа «колом»; даже о падежах мне было неизвестно, но словопроизводства признать не мог. После, когда был лет десяти, я прочел у Карамзина догадку, что название произошло от итальянской фамилии Колонна. Объяснение точно так же показалось невероятным, и я доселе удивляюсь, как ученый с глубоким смыслом, каков был Карамзин, мог придумать такую несообразность[1].

[1] Теперь выводят, и кажется – основательно, Коломну от «коло», то есть в смысле окольного пограничного города. Это

Подобно тому как в других старинных городах, рассказывали и в Коломне, что здесь-то стояла церковь, но провалилась по случаю страшного преступления; что по ночам слышится звон из-под земли. Замечательно это эпическое повторение того же рассказа в разных городах, почти буквально тождественное. Рассказывали об архиерее святой жизни, который велел-де похоронить себя на паперти, чтобы «все его топтали». Может быть, даже было это подлинным событием, но оно рассказывалось эпически торжественным тоном, полунараспев, и я впитывал его в себя. Многое запамятовал, но вообще легенд слышал множество и местного содержания, общего. Из последних некоторые, памятные мне по детству, напечатаны легкими видоизменениями в известном сборнике Афанасьева, к сожалению запрещенном. Запретили книгу, опасаясь соблазна. Но я спросил бы сберегателей народной веры: а кем и чем воспитывается народ хотя бы и в вере? Нужно удивляться, как еще сохранились в нем, хотя в полумифической оболочке, какие-нибудь ее искры. Священник, которого видит народ только при отправлении треб и как отправителя треб, менее других повинен в учительстве. Ему остается одна исповедь, но и в ней едва успеет он проронить несколько слов, при одновременном множестве исповедающихся. да и то если расположен идти далее механического отправления формальностей, указываемых Требником Отец, глава семьи, который вечно в работе и в заботах? Мать, бабушка – вот живые носительницы преданий, а легенды – кодекс христианской нравственности в поэтической оболочке Тот, кому средства дозволяют читать легенды в печати, вне уже всякого сомнения обережен от соблазна, ибо настолько развит, что в состоянии отличить поэзию от истории. Между тем если снять с легенд оболочку, мы найдем в них такую высоту, такую глубину христианского воззрения, пред которою преклоняешься. Возьмем хотя легенду об Илье и Николе, столь по-видимому соблазнительную, или об юродивом, крестящемся на кабак и бросающем камнями в храм. Опасаться глумлений может лишь тот, кто не слыхивал самолично легенд в детстве. А я слышал и опытом, своим и чужим, дознал впечатление, ими производимое, и суждения, ими вызываемые: их воспитательное действие несомненно.

Церковь, при которой отец мой был священником, стояла на берегу Москвы-реки или, как выражаются коломенцы, Москва-реки. Я говорю на «берегу», руководясь теперешними измерениями. Но в детстве какие-нибудь сажен семьдесят, восемьдесят, отделявшие церковь и наш дом от реки (дом был от церкви буквально в восьми шагах), казались значительным расстоянием; чтобы достигнуть воды, нужно было пробежать наш садик, затем городской огород – мало ли! И для взрослого уездного жителя, не бывавшего в столицах, городские расстояния представляются значительнее, нежели есть; горожанин еще более убеждается в этом своею медленною походкой: пространство разменивается на время и им, между прочим, измеряется. Когда провинциал попадает в столицу, ему кажется, что здесь бегают, а не ходят. То же покажется петербуржцу с москвичом в Лондоне. Мне же, малолетку, тем более казались значительными пространства, на деле короткие. Независимо от всего возраст имеет свою меру, и притом даже не для пространства только, а и для времени. Время первоначально считается днями, потом месяцами; а перевалишься за зрелый возраст, как ни богата жизнь событиями, остается внешняя память отдельных месяцев, пожалуй, и дней, когда что случилось; но последовательное течение событий перестает для сознания и чувства являться непрерывной вереницей: пусто, гладко и неразличимо представляется все, не ознаменованное чрезвычайностями; месяцы и даже годы сливаются.

Итак, и церковь, и дом наш стояли на берегу. Близ них, почти рядом, измеряя по-столичному, высились еще три церкви; самая дальняя едва ли отстояла на сто сажен, а ближайшая едва ли даже на 50. И о церквах, именно этих, ходили тоже если не легенды, то прибаутки, основанные на колокольном звоне, характеристическом у каждой. Звон одной, у которой колокола были средней величины, тенористые, по своему умеренному размеру ударявшие в один

была действительно граница; далее, за Окой, начинались инородческие земли.

край, медленно, переводился так: «Поп пья-ян, дьячок пья-ян». Густой звук другой колокольни отвечал: «И мы, и мы, и мы». И наконец, третьи мелким перебором звонцев прибавляла: «А мы видим, да не скажем»

Колокол для народа есть нечто не только священное, но живое; он рассуждает, гневается, упрямится, покорствует. Целым роем мифов окружена его жизнь. Когда его льют, предание повелевает распустить какой-нибудь слух, чтобы «гул пошел в народе». То же водится и при литье пушек, – обычай, заимствованный уже от колоколов, которые во всяком случае старше пушек. Отлитый колокол ставят на дровни и везут. Хорошо, когда он окупил себя, церковь и приход богаты. Но не случалось ли вам видеть, как колокол ездит из города в город, из деревни в деревню с просьбами о подаяниях на свой выкуп? Красуется на дровнях или дрогах колокол, более или менее значительного объема, и на трех же дрогах на особой звоннице висит колокольчик, время от времени жалобно ударяющий: «Подайте, Христа ради, православные». На многолюдных улицах, на площадях, на базарах в особенности, дроги останавливаются, лошади отпрягаются, а колокольчик с расстановками продолжает бить свою мольбу. Русский человек снимает шапку, крестится и кладет в кружку по силе-мочи.

Большой колокол нашей церкви был по уездному городу значителен, особенно в те годы, – 200 пудов. Приобретение его сопровождалось обстоятельствами, заслуживающими упоминания. В начале минувшего столетия господином города был именитый гражданин Иван Тимофеевич Мещанинов. Никто не смел мимо его дома проходить в шапке, а тем более обязательны были знаки почтения при личной встрече. Да чего! сами воеводы пред ним раболепствовали. Я застал еще в живых одного древнего желтовласого старца (фамилия ему была, помнится, Лохонин); а он застал в живых «коломенского бога», как называли Мещанинова. Лохонин был еще мальчиком: «По безрассудству своему – молод я еще был (так рассказывал он) – не догадался я снять шапку в начале улицы, когда Иван Тимофеевич на ней показался. Ну досталось мне; отодрать-таки отодрали, да и велел он меня в солдаты отдать Я бежал, и только бегами спасся». А Иван Тимофеевич был все-таки не более как купец! Таковы были нравы в первой половине прошлого столетия; по расчету лет Лохонина, полагаю, что происшествие случилось в тридцатых годах, потому что старику не было, кажется, полных ста лет.

«Коломенский бог» был прихожанином нашей церкви; она считалась почти домовою Мещаниновых даже и в начале нынешнего столетия. Решил Иван Тимофеевич слить колокол в свою церковь, и не маленький, в тысячу пудов. Едет к архиерею и просит благословения.

Как, Иван Тимофеевич, в приходскую-то церковь да в тысячу пудов? Это не полагается, не по закону. В приходской церкви позволены колокола только в сотни пудов. У нас и в соборе нету такого.

– Да колокол уж отлит, преосвященнейший владыко.

– Нет, как хочешь, никак этого нельзя. Лучше закажи ты для Никиты Мученика другой, а этот отдай нам в собор.

Так и поступлено. Колокол в тысячу пудов повешен на соборную колокольню и гудит на ней доселе; к Никите же Мученику доставлен новый; в 200 пудов, с надписью: «Лета от Рождества Христова 1702» и проч.

Но поднять тысячепудовый колокол на колокольню и даже подвезти его удалось не легко. Колокол заупрямился. «Везли его, – так рассказывали старожилы, – на дровнях, как полагается; народ со всего города и деревень тащит. Шел хорошо; но подвезли к Пятницким (крепостным) воротам, – остановился. И так и этак, народу прибавили, канаты лишние подвязали: нет, прогневался, значит, не туда везут. Мастер сел на него с плеткой, как водится. Хлестнет; словно и тронется, а нет. Молебен с водосвятием служили; кое-как потом уж одолели; только вместе с мастером так и подымали на колокольню, и мастер все время, как поднимали, – нет, нет и подстегнет».

Такова местность, среди которой будут совершаться происшествия, описываемые в начале настоящих «Записок». Добавлю, что, за исключением церкви пред глазами, лужайки шагов в тридцать длины и ширины и за ней дома каменного, которого только нижний этаж был отделан, а верхние окна забиты досками, я до семи лет не видал ничего или почти ничего. Весь мой горизонт ограничивался этим убогим простором. Меня никуда не брали, никуда не водили. Повернуть за угол забора, ограничивавшего лужайку справа (налево была церковная ограда), и пройти на улицу шагов за сорок, это бывало уже событием. Вне своего дома, едва-едва я помню до школы, как меня при похоронах матери возили куда-то (то есть на кладбище) и как я спрашивал Максимыча, мещаниновского кучера: куда маменьку везут? – и он мне постарался ответить что-то утешительное. Помню еще, как сквозь сон, что Андреич, пономарь, упросил раз моего отца отпустить меня с ним на «иллюминацию»; как вывел он меня за город (а мы и жили-то на конце города), как Андреич брал меня иногда на руки. Идти было очень трудно; под ноги то и дело попадались рога, на которые я спотыкался (вблизи были бойни). Много народу; ночь; слышалось пуканье (ракет) и виднелся щит, горевший огнями. Очевидно, происходило это 22 августа; но в каком году и сколько мне было лет, из памяти исчезло.

Еще темнее следующее воспоминание. Зима; отец едет в Черкизово (село верст 10 от города). Помню, то была помолвка двоюродного брата; как меня везли, в чем я провел несколько часов на «чужбине», все это вылетело, и в памяти осталось лишь, что и руки и ноги у меня окоченели. Я попросился на печку, но мне возразили, что тогда у меня руки и ноги отвалятся, и подали холодной воды, куда я должен был опустить руки. Это меня поразило кажущеюся несообразностью и врезалось.

Помню и еще… но это уже было из домашней жизни, о которой после. Таков, однако, был мои небогатый опыт, такова ограниченность кругозора до самой школы, до семи лет. Теперь, как вспоминаю, поражает меня тогдашняя моя неразвитость. Из окон виден был у нас другой берег реки, на нем луг, а за лугом лес, среди которого пять больших деревьев выдавались из прочих. Сиживал я у окна, вперял взор и спрашивал: что же, однако, там, и далеко ли отсюда это место, где голубое небо садится на землю? Задавал я эти вопросы другим. Что мне отвечали – не помню, но, должно быть, что-нибудь чересчур применительное к моему возрасту, уклончивое, без объяснения сущности, потому что долго так и оставалось у меня мнение, что там, за лесом, и конец света.

Удивительно! Удивительно потому, что я был мальчик смышленый, а к тому времени умел даже читать, но умственная жизнь по-видимому не начиналась, потому что так мало осталось в памяти из этого периода. Между прочим, поразительно: как, будучи уже шести лет, зная уже грамоте, я, оказывается, не знал даже, что такое смерть, когда спрашивал Максимыча о матери; как не постигал противоречия, что не может же кончиться свет сейчас за лесом, когда я знал, что есть на свете Москва, и слышал, что Москва от Коломны во ста верстах и что лежит она приблизительно в той же стороне, где сходится небо с землей. И в то же время чуял нелепость словопроизводства Коломны от «колом»! Этот замкнутый мирок, эта нелюдимость семьи, этот ограниченный круг, в котором вращались слышимые разговоры, именно это не было ли причиной, что при смышлености и возбужденной, по-видимому, мысли ум дремал? В школьном периоде испытывалось потом многое, подобным же образом странное. Я признал бы невероятным, когда бы это случилось не со мной.

Кончу описание родного города общею его наружностью, хотя ранее семи лет она для меня не существовала. Улицы в нем прямые и в большинстве мощеные, даже в тогдашнее время. Много домов каменных, почти большинство. Опять факт психологический: прямизна улиц стала мне известна, только уже когда мне было тринадцать лет, по приезде в Москву. В случайном разговоре услышал я замечание о кривизне улиц московских и задал себе мысленный вопрос: «А какие улицы у нас?» Представляя улицы ясно, тем не менее я затруднился решить вопрос заочно: какие они в самом деле, прямые или кривые? Только уже приехав снова

на родину, убедился, что город распланирован правильно. А между тем об этой планировке я слышал еще ранее, и притом неоднократно, с рассказом об обстоятельстве, которым она была вызвана и которым потом сопровождалась. Был пожар; за исключением нашего околотка, весь город был истреблен. Это случилось в восьмидесятых годах, ибо отец был еще мальчиком; вместе со старшим своим братом, на крыше дома, он метлой отмахивал падавшие головни. Ветер дул в нашу сторону; опасность была неминуема. «Тогда, – рассказывали мне, – к покойному батюшке (моему деду) пристали, чтоб он поднял иконы». Он исполнил, обошел околоток; околоток, который был обойден, уцелел. Мне перечисляли уцелевшие дома, с заключением, что «батюшка Никита Мученик заступился». Околоток уцелел, а город, и в том числе наш околоток, все-таки получил новый план, по которому церковь, выходившая на улицу, была отброшена от нее. Новую улицу пересекал по новому плану переулок, который должен был от берега пройти насквозь до выгонного поля. На пути ему представлялись ворота и за ними сад Мещаниновых, тех самых, которых предок, Иван Тимофеевич, был «коломенским богом». Коломенский бог был уже в могиле, а здравствовал его племянник, Иван Демидович. Видя беду, что двор и земля его разрежутся переулком, он отправился в Москву с опортовыми яблоками своего сада. Кто правил тогда Москвой, – не знаю, но подарок был принят. «Да, сад с такими прекрасными фруктами губить жалко», – произнес правитель. Сад был пощажен, и переулок остановился пред воротами мещаниновского дома.

Глава II
Предки

Я упоминал о селе Черкизове. Это было второе родное гнездо, не мое, но нашего рода. Длинный ряд княжеских каменных домов, почти на версту в длину, разнообразной, но замечательно изящной архитектуры, и притом расположенных со щепетильной симметрией, а впереди их три церкви, две по бокам и одна в середине, пред главным княжеским домом. Таков был вид Черкизова с Москвы-реки, на которой оно расположено. В стороне от княжеской усадьбы, тоже по берегу, рассыпаны крестьянские избы, в несколько слобод, то есть улиц, все смотревшие зажиточно. Этот вид Черкизово сохранило до освобождения крестьян, после чего последний из князей (Черкасских), владевших этим родовым имением, продал его в купеческие руки. Бывшая княжеская резиденция потерпела участь, испытанную потом многими и другими барскими имениями. Новый владелец, купивший имение за сто с чем-то тысяч, сумел в короткое время выбрать из него более того, чего оно стоило в покупке, и потом продать, кажется, за тройную цену. Все, что можно было вырубить, вырублено. Изящный дворец, с не менее изящными флигелями, манеж, который бы сделал честь любому губернскому городу и не посрамил бы даже столицы, псарный двор в виде замка с башнями, оранжереи, – все пошло на слом и продано враздробь: кирпичи – одному, мраморные плиты – другому; бронзовые, чугунные украшения нашли тоже охотных покупщиков. На месте палат осталось голое место с тремя церквами, на которые не имела права посягнуть коммерческая рука.

Каждая из церквей имела свое назначение и свою историю. Одна, ближайшая к селу, называющаяся Соборною (во имя Собора Пресвятые Богородицы), деревянная, но выкрашена белою краской, под стать усадьбе, чтобы не портить вида. Это и была собственно сельская церковь; к ней, в виде прихода, принадлежало село. Другая, крайняя, с другого конца, была погостом, где жили только священнослужители; приход ее рассеян по заречным деревням. Средняя церковь, пред княжеским дворцом, была «ружная». Строитель князь, он же зодчий всего ряда хором, не пожелал молиться вместе со своими «рабами», но хотел иметь свою церковь и своего попа, которого и посадил на «ругу», то есть на жалованье. Словом, – церковь плебейская и церковь патрицианская. Если князь не жаловал крестьянского деревянного храма, то и крестьяне не почитали (и доселе, кажется, не почитают) Успенской княжеской церкви, неохотно ходили и ходят в нее молиться, несмотря на то что она была теплая, имела придел с печью, тогда как Соборная оставалась нетопленою по зимам.

От причта этих двух церквей и идет мой род по обоим коленам, мужскому и женскому. Для своей ружной церкви князь искал попа видного и с голосом. В одном их своих многочисленных имений он нашел такового и перевел в Черкизово. Это был Федор Никифорович, мой прадед. Фамилии, разумеется, у него не было, и грамоту он знал плохо; но он поддерживал блеск княжеского двора. Подобно лакеям, одетым в ливреи и напудренным, князь находил приличным, чтоб и поп гармонировал со всем двором. Конечно мой прадед был не пудрен, но обязан был носить башмаки и чулки, наподобие бального кавалера. К моему отцу перешли между прочим камышовые и недешевые по-тогдашнему трости с серебряными набалдашниками: это несомненно были княжие подарки ружному придворному попу.

Какую противоположность с этим изящным по наружности попом представлял прадед мой по матери, поп Соборной церкви Михаил Сидорович, по прозванию Болона! Откуда получил прадед такое прозвище, родитель мой не мог объяснить. Но Болона был замечательный человек в своей окружности – он слыл богатым: у него были сапоги! Да, сапоги, и это считалось признаком достаточности, потому что большинство попов одевалось в лапти и валенки. И Михаил Сидорович ходил также в валенках, но сапоги у него были и стояли в алтаре. Он

надевал их во время служения. Была ли у него ряса, предание умалчивает. Вернее, что нет. Ряс вообще в заводе не было, и сельский батька, являясь в «епархию», чтоб идти на поклон к архиерею, брал рясу у кого-нибудь из городских священников напрокат. Это было удобно и дешево. К чему же обзаводиться рясой? Михаил Сидорович ценил свою состоятельность и не прочь был ею похвастаться. В праздники, когда собирались у него гости из окружного духовенства, он водил их в светелку, подымал крышку сундука и показывал рубли. Да, серебряные рубли были в диковину сельскому духовенству, быт которого совсем не отличался от тогдашнего крестьянского.

Удивительно: когда я в малолетстве слыхал все эти подробности, не поражала меня эта противуположность двух прадедов: шелковые чулки и щегольские башмаки, плисовая ряса одного, валенки и нагольный полушубок другого. И жили они во ста саженях один от другого, и были приятелями, водили хлеб-соль, как окажется из последующего. Уже после стал я вдумываться. Мне кажется, чулки, башмаки, даже плисовая ряса (всё, разумеется, княжие подарки) были в глазах ружного попа тем, чем в Павловские времена мундир для солдата. Федор Никифорович скорее, вероятно, тяготился атрибутами блеска, нежели щеголял. Должно быть, и для него обычными были те же полушубок и валенки; а рублей и совсем не было.

Как бы там ни было, а два соседние попа, барский и мирской, в столь противоположной обстановке, были приятели. Федора Никифоровича Бог благословил детьми, преимущественно мужским полом; у Михаила Сидоровича Болоны была дочь. Читатель ожидает свадьбы. Он не отгадал; до свадьбы еще далеко: хотя Михаил Сидорович и породнился с Федором Никифоровичем, но после.

Времена тогда были тяжелые для духовенства. Указ был: гнать всех ребят мужеского пола в школу непременно, под страхом жестокого наказания. Федору Никифоровичу хотелось спасти хоть кого-нибудь, и он нашел случай пристроить Матюшку, еще малолетка, во дьячки и тем избавить от семинарии. Дьячком сын поступил к нему же, в Успенскую церковь, разумеется по назначению и с согласия князя, которому архиерей не мог перечить. До чего еще малолетен был мой дед в звании чтеца, доказывается тем, что, по семейному преданию, раз он, выйдя на амвон с Апостолом, сделал со страха против воли нечто такое, что случается разве во младенчестве. История эта не имела дальнейших последствий, и Матвей Федорович успел дорасти до иерейского сана и поступил священником в Коломну, к Никите Мученику, где пред тем был священником его же родной старший брат.

Перерву на минуту историческую последовательность рассказа и обращусь к остальным членам семьи Федора Никифоровича. Старший его сын, Василий, не избег семинарии. Он прошел всю ее премудрость и даже был по окончании курса учителем семинарии, что не мешало ему быть с тем вместе протодиаконом Коломенского собора. Отличительным достоинством всех сыновей моего прадеда, по крайней мере Матвея, моего деда, и его брата Василия, была голосистость. Это были два редкие баса, а Василий Федорович обладал даже необычайным. Иван Иванович Мещанинов (сын того Ивана Демидовича, который отхлопотал поправку в городском плане) передавал мне в сороковых годах, что во всю долгую жизнь свою он голоса такой силы и звучности не слыхал, сколько ни знавал протодиаконов вообще, и архиерейских, и придворных. Раз было, говорил он мне, пью я у архиерея чай в Подлипках (архиерейская загородная дача). День был жаркий, окна отворены. Я услышал гудение. «Слышите: это мои быки ревут», – сказал архиерей. Это означало, что Василий Федорович зашел к брату Матвею как раз ко времени вечерни. Отправились оба в церковь, и за дьячка ли, за дьякона ли служил старший брат, но они потешались, распевая и возглашая вперегонки. Таков был рассказ Ивана Ивановича, человека, не способного преувеличивать: я познакомлю читателя впоследствии с этим истинно замечательным лицом. Тем не менее случай по-видимому даже невероятен. Подлипки от города отстоят по меньшей мере версты на полторы, а Никитская церковь, где потешались два «быка», лежит на противоположном конце.

Как бы там ни было, но голос, по крайней мере Василья Федоровича, был во всяком случае феноменальный. От его выкриков лопались стекла, как уверяют: вспоминается мне по этому поводу давно читанное известие о каком-то голландском пивоваре, разбивавшем двенадцать стаканов своим криком. Физиологическое явление это, оставшееся у меня в памяти по его необычайности, приводимо было в подтверждение библейских толкований богословами натуралистической школы. Так называлась школа, отвергавшая чудеса, но не решавшаяся спорить с Библией. Все чудесные явления в обоих Заветах она объясняла естественными законами, и в том числе падение стен Иерихонских от трубного звука осаждавших израильтян. Здесь-то и пригодился голландский пивовар, которого без того я не имел бы удовольствия знать. Если существовал такой пивовар, то неудивительно и существование Василия Федоровича, глас которого разбивал стекла в окнах. Во время коронации императора Павла дед Василий в числе других протодиаконов участвовал в церемонии. Как случилось это, предание умалчивает. Выходил ли такой наряд для самой епархии, или же наряжен был коломенский протодиакон лично по известному его голосу, достоверно то, что Павел поразился и потребовал Василия Федоровича ко двору, возвышая его в сан придворного протодиакона. Консерватизм, должно быть, в роду был у нас по мужскому колену. Вместо того чтоб обрадоваться предложенной чести, Василий Федорович уперся, прикинулся больным, несколько времени воздерживался от служения даже у себя в городе и ходил, в качестве больного, летом в тулупе; подкрепленный свидетельством докторов и архиерея, он спасся от чести, которой позавидовал бы другой на его месте.

Чтобы кончить с Василием Федоровичем, прибавлю, что с переводом Коломенской архиерейской кафедры в Тулу, с нею последовал туда же и протодиакон. У него должно было остаться потомство, и встречая иногда в печати фамилию Черкизовский, я задаю вопрос: не внучата ли это или правнучата моего деда, которому было то же прозвание? Как говорено выше, отец его, наравне со всеми лицами из духовенства, не имел родового имени. Приходилось Федору Никифоровичу выдумать, когда отдавал сына в семинарию, и он окрестил его именем села.

Стоит сказать здесь, к слову, о происхождении вообще фамилий, носимых лицами духовного происхождения. Один шутник объяснял, что кутейника легко отличить по прозвищу: оно либо переделано из латинского (Сперанский, Делицын), либо связано с местным храмом (Покровский, Преображенский), или, наконец, ведет свое начало от «сладких» предметов: Малинин, Сахаров, Виноградов. К этому объяснению я добавлю еще два вида: один от села, как у моего дедушки, и затем целый рой Твердолюбовых, Доброславовых и тому подобных. Этого рода фамилии уже более нового происхождения; их придумывали учители-умники и ректоры-прогрессисты тогда уже, то есть в нынешнем столетии, когда фамилии вроде Покровских и Воскресенских слишком опошлились и когда носить в своем имени напоминание о духовном происхождении начинало считаться не то что постыдным, а так, не вполне приличным; словом, когда левиты начали стыдиться своего происхождения.

Теперь я могу приступить к свадьбе, которой не без основания ожидал читатель при рассказе о моих прадедах. Если у Федора Никифоровича были по преимуществу сыновья, то у Михаила Сидоровича Болоны была дочь, Марья Михайловна. Отдана она была за дьячка в Москву, Федора Андреевича Руднева. Фамилия Руднев показывает, что дед мой по матери происходил из села Рудни. Странно как-то, что при тогдашней редкости сношений и при отдельности епархий, Московской и Коломенской, попала бабка в Москву; но было так: Федор Андреевич, зять Михаила Сидоровича Болоны, служил дьячком при церкви Григория Неокесарийского на Полянке. Чем он провинился, неизвестно в точности; покойный родитель говаривал о тесте, что он «варил солянку в церкви». Так ли, иначе ли, но Руднев отрешен был от места и отдан в солдаты: он был красивый, высокий мужчина и потому записан в гвардию. Оставшаяся жена с дочерьми и сыном вынуждена была перебраться к отцу на хлебы в Черки-

зово. Сын взят был или отдан потом в «Армейскую семинарию»; две дочери, Акулина и Аграфена, тоже пристроены, одна за дьячка в Москву (Аграфена), другая за дьячка же в Черкизово, к той же Соборной церкви, при которой был сам Болона; тогда это было просто. На руках осталась одна младшая дочь, Мавруша, моя мать. У прадедушки Болоны была, таким образом, внучка, а у прадедушки Федора Никифоровича – внучата, сыновья Матюши, и из них младший Петр. Старший, Федор, едва-едва лизнул школьной грамоты, а Петр подвигался в семинарии. И сыновья, и внучата навещали старика, ружного попа; ружный поп с Болоной приятель и сосед. Младший внучек одного, Петруша, подходил как раз по возрасту к младшей внучке Болоны, Мавруше: Петруша годом был старше Мавруши. Старики про себя ударили по рукам: Петруша женится на Мавруше, когда, Бог даст, кончит курс. Место готово: Болона уже на исходе дней; он передаст «Соборную» церковь и свой приход внучатам, доживая век на покое. Знали ль молодые до времени предназначенную им судьбу или нет? Скорее, нет. Но спора тут во всяком случае нельзя было ожидать. Петруша был скромнейший, по-слушнейший юноша, очень красивый собой, а Мавруша и просто красавица. Какое могло тут встретиться препятствие? Ребята игрывали вместе, когда коломенские гости наведывались в Черкизово; старшие на них любовались. А намеченной чете, целомудренной в глубочайших складках души, даже в голову не приходило, что из них будет, и даже вопрос о браке вообще не приходил в голову: воображение было чисто.

Прежде нежели перейду к рассказу о том, как исполнилось желание старших относительно младших внучат, я обязан досказать судьбу Федора Андреевича, записанного в гвардейские солдаты. Не по душе пришлось это московскому дьячку. Он был живой, изобретательный человек, мастер на все руки, балагур, словом, – человек скорее легкомысленный, нежели серьезный. Тем замечательнее твердость, им выказанная. «Не хочу служить», – решил про себя Руднев и исполнил. Он притворился глухим. Каким испытаниям подвергался он, сколько побоев вытерпел – легко представить; это происходило в суровое Павловское время, когда палок не жалели. Во время сна стреляли над ухом Руднева, но он вышел победоносно и из этого испытания. Не осталось начальству ничего делать; его выписали в нестроевые и перевели в Ревель, отдав в распоряжение тамошнему коменданту. Комендантом был князь Волконский, отец Петра Михайловича Волконского, бывшего потом министром Двора при Александре I. Получив Руднева в распоряжение, комендант взял его к себе в денщики как смышленого и грамотного; даже более, приставил к детям в качестве дядьки и учителя. Глухота, разумеется, исчезла с той же минуты, как почувствовал себя Руднев в нестроевых; назад не вернут же. Нужно устраивать здесь, в Ревеле, свою судьбу и уметь снискать расположение командира. Деду моему удалось это вполне. Он умел вкрасться; в нем было нечто кошачье даже в наружности: ласковый, приветливый взгляд и круглые, голубые, добродушные глаза.

Учит дедушка княжат грамоте, князь в нем души не слышит: так умеет обойтись с ребятами! Не всегда княжата его слушались; дед сумел их развлечь играми или заковать их внимание рассказами, всегда увлекательными, умел пристыдить их в случае и в числе наказаний употреблял между прочим лапти, которые нарочно для этого сплел, лапти маленькие, на детскую ногу. Они были и игрушка, и своего рода плетка; не слушается князенок, упрямится, ленится: обуйся в лапотки. Стыдно сиятельному, и средство действовало.

Но дед Федор таил далекие планы. Он был дипломат. «Не хочу служить и не буду служить», – это было решено с первой минуты поступления на службу, и дед положил этого добиться; усердие к князю-коменданту было только искусным подходом. Грамоте дети были выучены скоро. Старый князь благодарен. «Ваше сиятельство! я нашел в вас второго отца; как и ценить мне вашу княжескую милость! Но довершите благодеяние: изволили кормить до усов, соблаговолите кормить до бороды. Жена осталась на родине, дети. Мне хоть бы одним глазком взглянуть; отпустите меня к ним повидаться. Навек слуга я вашей княжеской милости». Князь

был давно и постепенно подготовляем к такой просьбе; старался исподволь дед размягчить в этом направлении и сердце княжат.

«Отпустить! Отпуск не положен, нельзя». Но дед просил так настойчиво, так был убит разлукой с семейством; стали нападать на него меланхолические припадки (притворства было ему не занимать); так покорно и с такою сердечностью уверял, что «только лишь повидаться с семьей», а то он немедленно воротится и посвятит весь остаток дней сиятельному семейству, призревшему его, более дорогому ему теперь, нежели собственная семья. Князь уступил. Как он обошел формальности, не знаю, но он исходатайствовал деду ранее узаконенного срока «чистую» отставку. Дед собрался в Черкизово.

Нужно перенестись в то время, когда не было не только телеграфа, но и почтой пользовались только состоятельные и привилегированные лица. Послать письмо, это эпоха жизни, межа, с которой начинают отсчитывать время: «это было, когда получено было или посылали письмо…» Да и как писать в село? и где деньги у денщика, пусть он и княжьим дядькой? Словом, прибытие солдата к жене, замужней вдове, было радостною неожиданностью. Объяснения, радостные слезы, рассказы. А в течение отлучки на военную службу, все-таки не кратковременной, случилось многое: Мавруша, между прочим, отдана замуж. Марья Михайловна проживала в Черкизове, но бывала иногда в Коломне у свата, Маврушина свекра.

Прошел день в воспоминаниях и разговорах. Наступает вечер и ночь. Марья Михайловна пропадает; где она? Федор Андреевич идет в Коломну к свату; он же и не видал его еще. Жена там; она успела предуведомить о возвращении мужа. Новые разговоры, новые объяснения, новые радостные слезы. Проходит день, наступают вечер и ночь. Марья Михайловна вновь исчезает. На ночь она отправляется опять в Черкизово. За ней снова муж; но снова повторяется старое: днем она с ним ласкова, любезна, радуется на него, но на ночь удаляется. Собирается семейный совет, которому жалуется полупризнанный муж. «Люблю тебя, радуюсь тебе, – объяснила твердо замужняя вдова, – но быть для тебя женой, как была и как по закону Божию надо быть, не могу. Ты – солдат, а я не хочу, чтобы будущие дети мои были солдаты». Залилась сама слезами моя бабка, но осталась непреклонна. Покорился и дед. Расцеловались они как брат с сестрой, при дочерях и зятьях, и как брат с сестрой провели остальную жизнь. Успел обойти дед гвардейское начальство, успел провести ревельского коменданта, но вся настойчивость его сокрушилась пред целомудренною твердостью женщины; мечты, которые годами лелеял он, обратились в дым.

Федор Андреевич проживал потом то в Черкизове, то в Коломне, разумеется не возвращаясь в Ревель; более – в Коломне, где помогал дьячкам в отправлении должности; зарабатывал иногда деньги чтением Псалтыря по покойникам, шитьем сапог и разным ремеслом, какое попадалось под руку. Он не дожил до старости, а ранее того проводил и жену свою в могилу.

Я упомянул выше об Армейской семинарии, куда отдан был единственный сын Федора Андреевича, Никита Руднев. Своенравный Павел, сосредоточив под управлением одного обер-священника все военное духовенство, устроил из него не только вполне независимую епархию, но и посадил обер-священника Озерецковского членом в Синод наряду с архиереями. Озерецковский – лицо замечательное, заслуживающее подробной биографии. Он родоначальник направления, от которого по прямой линии происходят отец Беллюстин, автор книги «О сельском духовенстве», и журнал «Церковно-общественный вестник». Личные неприятности с архиереем привели провинциального попа в Петербург, где чрез брата, члена Академии наук, он надеялся снискать себе защиту. Достиг он большего, нежели желал: снискал не только защиту, но возможность мстить своему архиерею, которого, пользуясь силой в Синоде и при Дворе, гонял он затем с одной епархии на другую до того, что тот не вынес этого измывания и умер. Нет сейчас под рукой данных для справок, кто был этот архиерей[2], но событие

[2] Боюсь ошибиться, но этим несчастным архиереем не был ли Афанасий Коломенский Озерецковский, если не ошибаюсь,

достоверно. Озерецковский мстил затем не одному своему архиерею, но архиерейству вообще, будучи mytratus popa, как называл его митрополит Платон, – «попом в митре», по власти не только архиереем, но почти патриархом, хоть и без епископского сана.

У этого-то митрованного попа была не только целая епархия в виде армейского и флотского духовенства, но и особенная в Петербурге семинария, названная Армейскою и пополнявшаяся детьми армейских священников. В ней-то учился дядя Никита Федорович. Кончил ли он курс, неизвестно мне. Между прочим, был он в качестве дьячка при Парижском посольстве, когда представителем России был князь Куракин; осталось предание, что в короткое пребывание при посольстве дядя удачно промышлял изготовлением и продажей кислых щей, напитка, неизвестного Парижу, но нашедшего там любителей. Никита Федорович поступил затем в Медицинскую академию, был полковым штаб-лекарем и умер в Баку, оставив небольшое наследство сестрам по оригинальной духовной, о которой будет сказано в своем месте.

Родословие моей семьи этим кончено. Отселе выступит пред читателем сама семья, лица, которых я уже зазнал; ни деда, ни бабок я не застал, тем менее прадедов: все померли ранее, чем я родился, и даже дядя, о котором сейчас была речь.

был, между прочим, одно время и ректором в Коломенской семинарии. Не здесь ли даже началась и вражда?

Глава III
Родительское гнездо

Вникаю в почерк дедушки Матвея Федоровича. Как сейчас, вижу его подпись; я ее изучил хорошо, когда простаивал всенощные и обедни в алтаре, что случалось нередко, и когда голодный ум просил работы. Я всматривался тогда в лепного голубя на своде над престолом и лепные же лучи, от него исходящие, в железные решетки окон, задавая себе вопрос, почему они здесь такого изгиба, а в теплой церкви – другого. Каждая мелочь каждой запрестольной иконы высмотрена; рисунок серебряных окладов на них, где травчатый, где прямолинейный, замечен; горнее место, престол с дароносицей на нем; ниша с выдолбленною в ней чашей на дне для выливания воды, жаровня, кадило, жертвенник, даже полотенце с круглым зеркалом в четверть величиной, – все было сто раз осмотрено. Зеркало не раз было даже перевернуто и осмотрено с затылка. «Что это оно такое тусклое? Не металлическое ли оно, какие бывают, я читал? Ободок-то медный». Комод, где хранилась ризница, давно и не раз подвергнут тщательной ревизии: здесь краска потерта, здесь выпотела; из медных скобочек одна неисправна, и знаю где. Разводы на парче, если какое облачение лежит на комоде, тоже известны уже, и знаю, в котором месте серебро осыпалось и видны лохмы каких-то желтых толстых ниток. Но главными выручательницами были книги, лежавшие на том же комоде, «Устав церковный», во-первых (Типикон), раскрытый на том дне, которого служба правилась. Вкусная книга! вся закапанная воском; очень вкусным находил я, одновременно с углублением в чтение, отскабливать ногтем воск и потом разглаживать закапанное место. Затем «Полный российский месяцеслов» с описанием соборов и монастырей российских. Обеим этим книгам я обязан многими сведениями. Наконец, старые приходо-расходные метрические книги; они давали большую пищу любознательности. Какие смешные почерки, какие чудные имена! Некоторые и знакомы; это пишет Яков Юдич, староста; вон Половинкин, а он тоже был старостой. А это кто же такой, Постников? Тоже староста; должно быть, это отец был Николая Акимыча Постникова. А вот «иерей Матфий Федоров»; это значит – дедушка подписывал. Годы и дни рождения многих знакомых из прихожан запоминал я без усилия и без желания помнить, без ведома тех, кого удерживала память; но если бы меня спросили, в каком доме из прихода, я бы отвечал безошибочно, кто в этом доме когда родился и у кого кто был крестный отец. Отсюда же я запомнил, что дедушка умер в 1809 году и что на его место поступил мой отец; с любопытством не раз пересматривал записи о моих сестрах и братьях, родившихся в Коломне, и о том, кто умер из них и когда. Никого я об этом не спрашивал, и никто об этом мне не говорил, и никому сведений своих я не передавал, но все улеглось в памяти.

Итак, вот почерк дедушки, почерк твердый и ясный, как будто бы писавший и не из тех, кто «в школах не был». Вдумываюсь теперь уже, кто, однако, деда учил писать? Не Федор же Никифорович, едва грамотный; должно быть, кто-нибудь из дворовых. И значит, дед писал довольно, когда рука так освоилась с пером, окрепла. Потом: когда он женился, когда и где породились у него дети, здесь или в Черкизове? Книги не дают ответа; они не заходят так далеко. Несомненно во всяком случае, что в восьмидесятых годах дедушка был уже не дьячком в Черкизове, а иереем в Коломне. О бабушке еще менее известно; ее в книгах нет, в семейных рассказах имя ее упоминалось редко; говорилось только, что она баловала и прикрывала старшего сына Федора, который был семье не на радость.

Детей у деда было пятеро: кроме двух сыновей три дочери, из которых две, старшая и младшая, были пристроены за дьяконов, средняя – за псаломщика в Коломенском соборе. Средняя и младшая скоро овдовели и очутились снова на родительских руках. А старшая… тоже давно овдовела, и я как сквозь сон едва-едва помню какую-то старушку в крашенинном

холоднике, которая бывала у нас еще при жизни матери и которую звали Катерина Матвеевна. Это она; должно быть, приходила она на побывку к дочерям своим: одна была за башмачником, другая – за хорошевским крестьянином, а не то может быть даже и жила у них.

Не без утешения вспоминаю я иногда, что родословие мое упирается в отставного солдата, а боком примыкает к ремесленнику и хлебопашцу. Судьба детей моего деда и их потомства этим и заслуживает внимания. В те времена, в начале нынешнего и конце минувшего столетия, ни в самом духовенстве, ни между ним и другими званиями (за исключением дворянского) еще не пролегало резкой черты и еще не зачиналось поползновений на какой-нибудь аристократизм попа пред дьячком и даже пред крестьянином и ремесленником. Аристократизм не успел по крайней мере спуститься до села и до провинции. Только в Москве рядные, сохранившиеся в консистории от XVIII столетия, обличают лисьи шубы у попов, экипажи и даже крепостных. В уездной, хотя епархиальной, Коломне дед, городской священник, брат учителя, чуть не префекта семинарии, выдает дочь за причетника. Положим, Марья Матвеевна имела несчастье быть рябою и потому не нашла себе более видной пары; но и это обстоятельство не лишено значения: приданое, стало быть, не стояло тогда на первом плане. Во всяком случае, если бы лет через сорок потом и даже тридцать последовал в той же Коломне и даже в той же семье подобный брак, на него посмотрели бы как на похороны: чтобы дочь священника была выдана за дьячка, внука – за мужика или за башмачника (очень бедных вдобавок)! Я помню девичество своих сестер; мое детское сердце вполне бы присоединилось к их отчаянию, когда бы предстал им такой mesalliance, и подсказало бы совет лучше оставаться век в девицах, нежели идти на такой позор.

Чудною представляется с нынешней точки зрения судьба и самой Катерины Матвеевны, тещи этого башмачника и этого мужика. Городской дьякон, за которого она была выдана, был не простой дьякон. Внушительно говаривали мне, что у него была «шпага и треугольная шляпа». Смутно я понимал, что такое шпага, но треугольной шляпы даже представить не мог; только ощущал, что какого-то великого отличия был удостоен дядя. Дело в том, что Гастев, такова была фамилия мужа Катерины Матвеевны, с таким успехом учился в семинарии, что его отправили в университет для «усовершенствования в науках». Это водилось. Сверх латыни семинаристы тогдашние сильны были по-своему только в богословии и философии, а в положительных науках и новых языках плоховали. Лучших воспитанников ввиду этого посылали в университет. Там-то удостаивались они «шпаги и треугольной шляпы»; по возвращении же на родину поступали учителями в семинарии.

Гастеву дали кафедру французского языка и определили в приходскую церковь дьяконом. По нынешним понятиям, поступок дикий. Умницу, дважды ученого человека определяют дьяконом к какому-нибудь охряпку-попу, который, может быть, и до Риторики не дошел, а то и не нюхал семинарии совсем, и у которого, однако, по иерархическому подчинению профессор-дьякон обязан целовать руку. Ныне такой случай причислен был бы к «проявлениям возмутительного деспотизма». Тогда же никого это не поражало, и сам Гастев не находил своего назначения неестественным. Ни малейшего намека на что-нибудь подобное ни от кого я не слыхал, а слышал, наоборот, другое. Архиерей, помнится Афанасий, тоже знал французский язык (что не за всеми архиереями водилось) и потому с особенною внимательностью прислушивался к ученическим ответам на экзамене. Ученик переводил. «Не так!» – восклицает архиерей. Гастев докладывает, что переведено верно. «Неверно!» – настаивает владыка. – «Так как же нужно?» – «Знаю, да не скажу». – Об этом «знаю, да не скажу» батюшка мой любил повторять рассказ, поясняя, что архиерей, в сущности, разумел плоше и учителя, и ученика, а только корчил знатока. Впрочем, мнимое неудовольствие не мешало преосвященному неизменно после каждого экзамена приглашать Гастева с собой в карету и везти к себе на трапезу. Но прежде чем доехать до архиерейского дома, горячий спор обыкновенно продолжался, и раз

до того, что рассерженный Гастев вырвался даже из кареты и пришел к архиерейскому обеду пешком. Времена!

Что же, однако, произвело такой переворот в воззрениях, и в такое короткое время? Два закона: 1) требование, чтобы на священнические места определяемы были не иначе как кончившие курс, и 2) освобождение священников и диаконов от телесного наказания. Тем и другим внезапно приподнята была одна половина клира и над народною массой, и над другою половиной клира же. С тем вместе низшая половина клира низвергнута была на степень париев, нечистых самарян, которым «жидове не прикасаются». Впечатление усиливалось грозою рекрутчины, постигавшей выброшенного из школы, если не успевал он ни попасть на церковно-служительское место, ни «избрать род жизни» (юридическое выражение, означавшее приписку к податным обществам), и – рекрутчиной действительною, которой подпадали дьячки, отрешенные от мест. Школе сообщилась магическая сила; как прежде упирались, так стали теперь напирать. Кончить курс, быть «кончалым», стало мечтой, управляющею всеми помышлениями подрастающего духовенства. Магическую силу приобрело не только звание «кон-чалого», но разряд, в котором курс окончен; кончивший в первом разряде всю жизнь потом свысока смотрел на второразрядного, тем более третьеразрядного. Чрез двадцать лет по выходе из школы он все еще видел в себе существо как бы из другого теста слепленное – пшеничного, не ржаного. А что сказать о воспитавшемся воззрении на школьный отброс, из которого начал составляться причетнический класс!

Разумная в основании мысль Сперанского, осуществленная преобразованием духовных училищ, произвела бесспорный вред, отдалив клир от народа, вместо того чтобы сблизить их, и посеяв раздор в самом клире, разделившемся на «черненьких и беленьких». Любопытный факт общественной патологии в этом смысле явила, между прочим, известная книга отца Беллюстина «О сельском духовенстве», составившая своего рода эпоху в истории административных и законодательных отношений к духовенству, продолжающихся отчасти доселе. Не щадя желчи и мрачных красок для изображения архиереев, которых автор величает «сатрапами в рясах», он с презрением, с гнушением опрокидывается на низший причт, даже не догадавшись, что обличает этим в иерее такого же сатрапа по отношению к дьячкам и дьяконам, каким описан архиерей по отношению ко всему духовенству.

Продолжаю прерванную нить рассказа. Не на радость семье был дядя Федор, сказал я. В молодости ему предстояла солдатчина. Попал ли он под один из тех указов, которыми от времени до времени производилось «очищение» духовенства, или же совершил какую-нибудь прямую повинность, только дед, чтобы спасти сына, вынужден был отправляться в Москву и валяться в ногах у наместника. Коленопреклоненный, со слезами молил он вельможу; но наместник был непреклонен, и дядю не миновала бы красная шапка, если бы не вступилась жена наместника, смущенная унижением «такого почтенного отца», как выразилась она, и тронутая его слезами. Черта опять не нашего времени: жена сановника присутствует при официальной аудиенции, даваемой просителю!

Спасенный от солдатчины дядя записан был в нижний земский суд и начал жизнь подьячего. Женился он потом, завел свой дом; он выстроил его в Репенке (так называется одна из городских слобод), на общественной земле, отведенной городом. Берег речки Коломенки, на котором стоял дом, начал обсыпаться, и дядя перенес свою оседлость на другой берег речки. в слободу «Запруды», где выстроил новый домик на земле, тоже отведенной городом. Там и я бывал, когда сопровождал причт со славленьем об Рождестве и Святой; кроме того, по случаю свадьбы Василия Федоровича, двоюродного брата, меня пригласили в качестве «мальчика с образом», неизбежного при благословении пред венчанием. Более я не бывал, и сам дядя навещал нас очень редко: два, много три раза в год, на Святой и об Рождестве. Не помню, чтоб он был даже на похоронах моей матери и на свадьбе сестры. Отношения между двумя братьями, а также и отношения сестер к старшему брату, вообще были холодные, чтобы не сказать непри-

язненные. Братьев отчасти разделяла самая разница развития и противоположность идеалов. Сестры боялись задорного, придирчивого характера, которым, к несчастию, одарен был дядя, и брани, на которую он был очень скор. Тяжелое впечатление и на нас, детей, производил этот старичок во фризовой шинели и в картузе, обыкновенно надетом глубоко, с крикливым голосом, резкими движениями и бородой, которая казалась мне всегда мало обритою, потому что колола меня при поцелуях. С приходом его обыкновенно все разговоры прекращались; начинались сухие, отрывочные, казенные вопросы о погоде, здоровье домашних и тому подобные занимательные беседы.

Я зазнал дядю уже в отставке, губернским секретарем. С иронией говаривал мой отец, и в глаза своему брату и за глаза, что он нарочно вертится в базарные дни у кабака на Большой Московской улице, чтобы задрать полупьяных мужиков, вызвать на оскорбление и слупить за бесчестие. Дядя не гневался на это напоминание, напротив, с торжеством упоминал о своем калмыцком тулупе или даже указывал на него, когда дело бывало зимой. Тулуп приобретен был именно этим путем. С самоуслаждением говаривал подьячий Екатерининских времен и о наездах нижнего земского суда на деревни. Это бывало истинным Тамерлановым нашествием: пощады не было ни имуществу, ни чести; придумывались предлоги самые дикие (вроде рекрутчины с девок), пускались в ход вымогательства самые наглые, застращиванья, едва не истязанья. И рассказывалось об этом чуть не как о геройстве.

В дяде, впрочем, была одна черта, возбуждавшая к нему мое сочувствие: он был страстный и искусный садовод с юных лет. Искусство к нему перешло, очевидно, от мещаниновских садовников. Сад Мещаниновых, послуживший, между прочим, как знает читатель, к изменению городского плана, был сад барский в полном смысле: на нескольких десятинах, со стриженными и крытыми аллеями, с двухэтажными каменными беседками и с фруктовым отделением. Он неизбежно должен был иметь ученых садовников, и от них заимствовал дядя и охоту, и искусство. Наш крохотный садик у Никиты Мученика щеголял разнообразием яблонь и крыжовников; это были следы трудов Федора Матвеевича, оставшиеся еще с того времени, как он жил при дяде. В собственном его садике цвели роскошные розы, и он ими щеголял.

Глава IV
Старая семинария

По всему видно, что Петруша был любимым птенцом своего отца. Да и как было его не любить, особенно в сравнении со старшим братом, дерзким, буйным, «матерщинником», как выражалась о нем заочно одна из сестер? Петруша был тихий, скромный, застенчивый юноша. Застенчивость осталась в нем неизменною до старости.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.